избранная зарубежная лирика

Веселин Ханчев



ВЕСЕЛИН
ХАНЧЕВ

Избранная лирика

ПЕРЕВОД С БОЛГАРСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
МОСКВА. 1970

И(Болг)
Х19

Составитель А. Опульский
Художник Б. Алимов

СВЕТЛЫЙ ТАЛАНТ

Я представляю себе любителя современной поэзии, который стоит у книжного прилавка и в нерешительности листает эту маленькую книжечку. Он вспоминает, что один из его приятелей слышал как-то стихи Веселина Ханчева по радио, другой — по телевидению, третий читал что-то ханчевское в «Новом мире», кто-то видел, кажется, даже сборник поэта, вышедший лет десять назад. Говорили, что стихи хорошие, но то ведь каких-нибудь два-три стихотворения, да еще схваченные с чужого голоса. А сами-то они вообще плоховато знают болгарскую поэзию.

Я тоже любитель поэзии. У меня тоже было время, когда я относился к болгарской поэзии настороженно. И мне очень хочется, чтобы покупатель, так нерешительно переминающийся у прилавка, нежданно-негаданно открыл книжечку вот на этой самой странице и прочитал, что Болгария — страна поэтов и ценителей поэзии и что Веселин Ханчев в этой стране один из самых популярных и любимых поэтов.

На его звучных, сердечных и умных стихах лежит печать необыкновенной душевной красоты, благородства, мягкости, изящества, гармоничности, талантливости. Всегда приветливый, спокойный и сдержанный, с мужественным, красивым лицом и яркими голубыми глазами, Веселин Ханчев нес в себе редкую культуру, редкую эрудицию, редкую многогранность таланта.

За что бы он ни взялся — оканчивал дело с блеском, и казалось, что именно здесь, в этом, иной раз случайно затеянном деле, было его призвание. Но призванием его была только поэзия.

«Никакой другой жанр не способен выразить правду о жизни человека, нашего современника так прямо и непосредственно, как поэзия, — считал Ханчев. — Она призвана, как вспышка молнии, освещать его суровые черты, его победы, страдания».

Эти слова поэт написал незадолго до смерти, но осознал то, что ими выражено, он очень рано. Большую роль сыграла здесь та среда, в которой формировался его характер.

Его родители, доктор Ханчев и доктор Азманова, были людьми с очень широкими интересами. Их дом посещали многие общественные деятели и литераторы, у них долго жил один из крупнейших болгарских писателей — Антон Страшимиров; первая болгарская женщина-поэтесса Екатерина Ненчева была родственницей поэта; два ранних стихотворения четырнадцатилетнего Весьо были замечены маститым поэтом и известным в те годы филологом Эмануилом Попдимитровым.

Писать стихи Ханчев начал очень рано; он и сам не помнил когда. «Всякий раз, когда стараюсь вспомнить, — говорил поэт, — прихожу к убеждению, что в

своей жизни я всегда испытывал муки и радости творчества. Ничего другого, кроме стихов, я не создал, хотя брался за многое: изучал в университете право, был метранпажем в типографии, переводчиком, солдатом, путешественником, киносценаристом, драматургом в опере и в театре сатиры, редактором на радио и в издательстве. Я совершал путешествия в разные страны, в самые отдаленные края, но все дороги приводили меня к поэзии».

Один из современных болгарских критиков, дружба которого с Ханчевым завязалась еще с того дня, когда они первоклассниками сели за одну парту, Веселин Иосифов, сказал как-то, что если «в детстве Веселин Ханчев был лучшим поэтом гимназии, то с годами он стал лучшим поэтом Болгарии». И соотечественники высоко оценили его творчество. Об этом лучше всего говорят две полученные им Димитровские премии. Об этом же свидетельствует, конечно, и тот факт, что родной город Веселина Ханчева провозгласил его своим первым почетным гражданином. А ведь этот город, Стара Загора, — крупнейший культурный центр Южной Болгарии, и главное — это город с давними поэтическими традициями, где родились такие известные болгарские поэты и вожди литературных течений своего времени, как Гео Милев, Иван Хаджихристов, Иван Мирчев, Николай Лилиев, Кирилл Хри-

стов, Димитр Подвырзачев и др. Уж кто-кто, а старозагорцы отлично разобрались, какого поэта они взрастили. Впрочем, разобраться было, вероятно, не так уж и трудно, поскольку незаурядное дарование Веселина Ханчева было всегда у них на виду: ведь почти сразу после съезда из родного города поэт начал печататься в столичных журналах, первый же сборник своих стихов он опубликовал, еще учась в старозагорской гимназии.

Знаменательно, что этот сборник был посвящен самому главному событию 30-х годов, волновавшему тогда весь мир, — борьбе испанского народа против фашизма. Знаменательно и то, что юный автор, живущий в стране, где правительство было настроено профашистски, открыто заявлял о своих политических симпатиях, озаглавив сборник «Испания на кресте».

По-видимому, стихи, входившие в первую книгу Веселина Ханчева, были незрелые (книга давно уже является библиографической редкостью, ее нет даже в авторской библиотеке, и в ее оценке приходится ссылаться на мнение самого поэта, помня, однако, что он всегда был излишне скромен и излишне строго судил свои стихи), но в них было то, что определяло все его последующее творчество: гуманистическая и гражданская тематика, прошедшая через сердце поэта и потому окрашенная его индивидуальностью.

Минет двадцать пять лет, и Веселин Ханчев, уже возмужавший и повидавший смерть и на полях сражений, и в онкологической клинике, уже написавший большую часть своих стихотворений и получивший известность далеко за пределами Болгарии, уже ставший крестным отцом многих молодых поэтов, отвечая на вопросы одного из литературных журналов, сформулирует те требования к современной поэзии и к современному поэту, которые он считал обязательными и для себя самого в течение всего своего творчества, начиная от первого юношеского сборника.

«Не может современный человек изолироваться и создавать абсолютно интимную поэзию, подобную дистиллированной воде, — скажет он. — Поэт и в личной жизни должен оставаться гражданином. Но гражданин без личной жизни и без драм становится, если хотите, абстракцией, становится человеком из картона. Поэтому гражданская и интимная поэзия всегда слиты, всегда неотделимы одна от другой, даже тогда, когда одна из них на первый взгляд отсутствует».

Иначе, конечно, не может и быть: если поэт живет жизнью народа, то каждое его стихотворение выражает одно из состояний, чувств, настроений, испытываемых составной частицей этого народа, — человеком, и сам поэт является как бы сейсмографом народных переживаний. Веселин Ханчев был поэтом народа, он имел

право сказать: «Во всех книгах я стремился быть верным времени, в которое мы живем, писать правду о людях, создающих красоту, силу и бессмертие этого времени».

В стихах Ханчева звучит пульс современности. Он слышен не только во внешних приметах времени; даже в стихах о самых, казалось бы, интимных человеческих переживаниях мы всегда ощущаем, что и те, о ком они написаны, и тот, кто их написал, — наши современники.

Может быть, потому мы с таким интересом и читаем эти стихи, что они написаны о нас и таким же человеком, как мы, только более талантливым. И еще потому, что этот человек не просто пописывает скуки ради; к нему как нельзя лучше относятся слова Льва Толстого: «Надо, чтобы писатель, окуная перо в чернильницу, каждый раз оставлял в ней кусок собственного мяса». При этом Веселин Ханчев не просто чувствовал бессознательную творческую потребность следовать этому совету; возможно, даже и не зная о нем, он пришел к тому же выводу, что и великий писатель. Прочитайте стихотворение «Посвящение», и вы убедитесь в этом. По Ханчеву, воплошение поэтом в стихотворении внешнего мира — акт мучительный, это как бы повторное рождение мира, повторное создание каждой вещи в собственном сердце поэта. Мысли оставляют раны на его теле, болят долго и мучительно, и каждая

из них остается в нем, как выболевший шрам. Каждая...

Как же поэт может выдержать такое величайшее напряжение? Как же он может даже любить свое призвание, свою профессию? Только благодаря любви к людям, любви к жизни. В последние годы жизни обстоятельства сложились так, что Веселин Ханчев жил не только в Болгарии — он надолго выезжал за границу. Мне приходилось встречаться со многими его болгарскими, русскими, польскими друзьями, читать их воспоминания — рассказывая о поэте, они прежде всего отмечали его жизнелюбие.

Он умел наслаждаться воздухом земли, радоваться ее зелени, любоваться ее живыми существами.

Живой мир, который так любил Веселин Ханчев, был бы не полон без человека. Более того, человек для него — самое главное в этом мире. Ведь даже чисто пейзажные на первый взгляд стихотворения у Ханчева всегда зовут к размышлениям о человеке, о его радостях и огорчениях, о его труде, о его любви.

«Мы непрестанно, до боли всматриваемся в нашу современность и непрестанно спрашиваем себя: что из нее должно стать великой, постоянной темой нашей поэзии? — писал Ханчев. — И ответ всегда один: Человек. Я не знаю ничего более сильного, более сложного, бо-

лее красивого, более страшного, более достойного пера писателя, чем он. Его внутренний мир более необычен, таит больше чудес, более необъятен, чем мир планет».

При таком человеколюбии, таком жизнелюбии поэт всегда ощущал радость быть человеком, радость общения с жизнью, радость самой жизни. Но жизнелюбие Веселина Ханчева не было взаимным: жизнь рано отдала его тяжелой болезни, а потом и смерти. Последние годы он жил, зная о своем неизлечимом недуге, постоянные боли, слабость неотступно преследовали поэта. Но этот внешне мягкий, сентиментальный человек оказался человеком беспредельного мужества. Он не только умел скрывать от близких и друзей свои страдания, физические и нравственные, он сумел свои личные страдания, свою личную драму переосмыслить как драму современного человека, могучий, непокорный спартанский дух которого отказывается примириться со своей обреченностью, — он создал цикл стихотворений, посвященных борьбе человека со смертью. Так факт духовной биографии отдельного человека стал на службу раскрытию всей масштабности созидательной энергии нашего социалистического времени.

У лирического героя Ханчева лишь ненадолго прорывается страх смерти («Стены»). Но он сопротивляется, казалось бы, этому естественному в его положении чувству, сопротивляется дерзко, гордо, и ему удается

победить его, удается до конца своих дней остаться Человеком, остаться тем Поэтом, от которого он требовал:

До последнего вздоха
останься Колумбом
и смерть свою встретить сумей,
как непознанный мир,
как еще не открытую землю.

Умер Веселин Ханчев сорока семи лет, в 1966 году.

За немногие, прошедшие после кончины поэта годы в Болгарии было издано четыре сборника его стихов. Во всех этих сборниках составители придерживались расположения стихотворений по циклам, формировавшимся в процессе первых публикаций: болгары, которым предстояло читать сборник, отлично помнили, когда и в окружении каких стихов появилось то или иное стихотворение, и не мыслили его вне этого окружения.

Русские читатели знают творчество и биографию Веселина Ханчева не так хорошо, как соотечественники поэта, да и сборник, который мы сейчас издаем, невелик, ибо включает в себя лучшее из того, что создано поэтом; поэтому при расположении стихов здесь использован иной принцип — тематический, который по-

зволяет показать и круг интересов поэта, и его подход к раскрытию разных тем, и его мастерство в создании самых разнообразных по тематике стихотворений—от стихотворения-пейзажа, почти фотографии, до стихотворения, насыщенного глубочайшими философскими раздумьями о природе и человеке, о любви и искусстве, о гуманизме и о будущем нашей планеты, о смерти и о побеждающей ее жизни.

А. Опульский

ЛЕНИН

Он должен был возникнуть среди нас.

В такое время должен был возникнуть
и такой:
обыкновенный, как вода и хлеб,
что каждого насытит,
всем пьедесталам мраморным чужой,
глядящий далеко,
в такую даль, что звезды близко;
от быстрого движения истерто
пальто,
пола взметнулась, как крыло.
Неумолим и весел он, как пламя,
что жжет богатые дворцы.
Его чело,
как облако, за коим блещут мысли,
как молнии...
Под чуткими руками
взрастают и поэмы, и бойцы,
и деревца восходят, и эпохи.

Он должен был возникнуть среди нас.

Так ждут леса, черны перед восходом,
с воздетыми руками,
чтоб солнце взять;

созревшее в ночи
зерно в измученной земле
так набухает
во имя жатвы;
так, если даже мать и умирает,
плод боли
появляется на свет
в определенный час.

Он должен был возникнуть среди нас.

Он должен был возникнуть,
чтобы правда
повсюду водворилась, как закон,
чтоб в молот переплавилась верига,
в струну — патрон,
чтоб горсти превратились в гнезда дружбы,
чтоб были нашими пути,
дождь перламутровый,
уста,
склоненные для поцелуя,
и травы сочные, и свет, и тень,
чтоб ты явилась, милая свобода,
и нам сказала:
«Люди, добрый день!»

Он должен был возникнуть среди нас.
О, должен был!
И если б не возник,
его бы сами создали тогда,
ему бы дали имена,
нежнейшие на свете:
Звезда,
Надежда,
Воля
иль Возмездье.
Его б мы сами создали тогда,
чтоб разделить
между собою
счастье —
в груди своей носить его,
как сердце.

ЗЕМЛЯ И НЕБО

Человек на земле родился.

Но затем он рожден на свет,
чтобы видеть всегда небеса
и стонать, если неба нет,
чтобы чувствовать все сильней
в ласках, в муках, в приливах сил
не удары крови своей,
а удары крыл.

Человек на земле рожден.

Но рожден на земле затем,
чтоб всегда над собою он
видел зарево звездных систем.
Чтоб, достигнув и дальних светил,
он глядел, продолжая грустить,
в небо, полное странных сил,
смертоносное, может быть.

На земле человек рожден.

Но родился он для того,
чтоб светил ему небосклон,
если встал на колени он,
если наземь свалило его.

Даже если не видят глаза,
если меркнут вдруг небеса,
чтоб сиял над ним небосвод —
тот, что каждый в себе создает.

МОИМ СВЕРСТНИКАМ

Кто нас породил, не играли с судьбою в бирюльки.
Не только романтикой наша эпоха полна.
Война нас качала в своей бронированной люльке,
едва мы пришли — нас тротилом крестила война.

На фронте отцы. Ну, а матери в черном все были.
И — виселиц тени, и голод нас волком грызет...
Ах, сверстники, сверстники, разве мы все позабыли?
Неужто нам детство на память уже не придет?

Неужто забудем, как смотрит усталая мама,
как холодно в доме, как пулей свистит темнота?
И хлеба кусок, вкруг которого ждем мы упрямо,
и вечное «нету», и сжатые горько уста?

Да, нашему времени «мачеха», может быть, имя.
Был мир наш не сказочен — холоден, страшен и слеп.
Едва мы родились, мы сразу же стали большими,
лишь начали жить мы — и был уже горек наш хлеб...

СОВЕТСКАЯ ЗЕМЛЯ

Ночь, как туннель, промчалась мимо,
в свет поезд вырвался трубя,
и я увидел в клочьях дыма —
всю озаренную! — тебя.

Ко мне в окно — отнюдь не небыль —
влетали искры, голоса,
поля, кончавшиеся небом,
и еще темные леса,
и даль дорог, на чьих просторах
рассвета кровь блеснет вот-вот,
дымки колхозов, вкруг которых
ведут березы хоровод.
Летели девичьи ладони,
и полевой аэродром,
и на невысохшем перроне
простая женщина с ведром,
труба летела заводская,
солдаты, песня с высоты,
и в синем небе птичья стая...
Все это ты, все это ты!

Величественна и сурова,
добра — добрее в мире нет, —
лесами мне махала снова,
озерами смотрела вслед,

летела ты, себя не пряча,
и, глядя в окна на жнивье,
я ощущал в пару горячем
дыханье жаркое твое,
и широта твоих дистанций
была яснее в новом дне...

Ты шла ко мне, чтобы остаться,
навек раскинуться во мне.

СССР, граница

ХОРОШИЙ УЧЕНИК

Он был хороший ученик.
Самый лучший в классе.

Он сидел на первой парте,
у окошка, налево;
невысокий,
с шевелюрой, как пламя, —
прямой и красной,
с целым созвездьем веснушек
на обеих щеках.

Он был очень хороший ученик.
Всегда готовый к уроку,
отвечал точно и ясно,
не молчал,
когда учитель,
встав за кафедрой,
спрашивал:
— Кто цари Второго болгарского царства?
— Где находятся Азорские острова?
— Что мы получим, если прибавим
к натрию три молекулы серебра?

Он был хороший ученик
Самый лучший в классе.

Однажды,
совершенно неожиданно,
вошел какой-то офицер.
Встав за кафедрой,
офицер ткнул пальцем
в первую парту у окошка, налево,
и сказал:
— Выйди к доске.
Иди.
Говори.
Отвечай на все вопросы
подробно и ясно.

Это был урок мучений.

Со стены,
как из черных камер,
смотрели Ботев и Левский.
За пустыми партами
сидел страх
и подсказывал.
— Кто те,
к кому ты ходил на явку?
— Где находится
квартира, в которой ты с ними встречался?

— Что ты от них получил?
— Кому отдал?

Это был урок бесстрашия.

Он был хороший ученик.
Самый лучший в классе.

Он вышел из-за парты,
встал у доски.
Его рыжая шевелюра засияла
на ее черном небе
с меловыми облаками.
Его лицо
излучало покой и ясность
под золотыми веснушками.

Он был очень хороший ученик.
Самый лучший в классе.

Но он ничего не сказал.
На все вопросы
ответил молчаньем.
Молчал,
когда его спрашивали в классе.

Молчал,
когда его повели наружу.
Молчал,
когда его поставили
у стены на заднем дворе.
Молчал,
когда последний звонок
пробили винтовки.

Он был очень хороший ученик.

Он молчал
и получил аттестат с отличием
на уроке бессмертия.

МОЛИТВА К РЕВОЛЮЦИИ

Революция,
дева в красном ореоле,
Богородица моя,
тебя я премного молю:
не старься
во мне
и в близких моих!

Ты,
что милостиво возложила
на чело мне
терновый венец морщин,
сохрани во мне память о них,
разреши
мне остаться живым,
как живы умершие за тебя,
помоги мне услышать
их святое молчанье
в гуле великом
побед,
дай мне возгласы их
в тишине
проигранных мною боев.
Смилуйся,
не снимай с моих плеч
тяжкий крест — твое знамя:

без него упаду я.
Научи,
как мне нести его ввысь
с великой любовью людской,
чтоб не ударить случайно
тех, что сзади идут.
Пусть руки оно мне сожжет,
если его превращу
в одежды красивые ближним моим.
Ослепи ты меня,
если в восходах его
увижу закаты свои.
Не сделай меня одиноким,
когда буду я вместе со всеми:
в оковах свободы такой
мощь моя
сломит меня.

Революция,
матерь моя!
Тебя я премного молю:
не старься во мне
и в близких моих!

Аминь.

БЕССМЕРТИЕ

Промчатся годы по своей орбите,
и нам виски покроет первый снег...
Большие или малые событья
не прекратят вкруг нас безумный бег.

Земля землей останется. И тучи
всё будут тучи. А снега — снега.
И так же будут вольно и могуче
века волною биться в берега.

Мы в землю ляжем, не избегнув тлена,
мы станем только почва, только твердь.
И вы, отцам идущие на смену,
вы скажете: «И их свалила смерть!»

Нет, ошибетесь! Нет, мы будем живы!
Мы за эпоху падали в дыму,
мы за нее так надрывали жилы,
что победили даже смерть саму.

Что из того, что тлеют наши кости,
что нашу кровь дожди смывают прочь?
Мы были, время, у тебя не гости —
мы строили тебя и день и ночь.

Поэтому мы здесь. Над нами встали
не из гнилого дерева кресты,
а фабрики, где слышно пенье стали,
и города, одетые в цветы.

Кровь наша нефтью льется благодатно,
пульс превратился в двигателей шум.
Смотрите, братья, мы пришли обратно —
в улыбки ваши, в мускулы и ум!

ПОКА ШЕЛ ПОЕЗД

Я шел в горячих травах по холму.

Вокруг меня —
все будто в мыльной пене —
купались в синеве небес черешни.

Вверху гудели пчелы и ветра,
и облако покачивалось тихо.
А может, и не облако то было,
а перышко из птичьего крыла.

А снизу, задыхаясь,
мчался поезд.
Катился он,
невидный за ветвями,
я слышал лишь раскатистый гудок.

Сейчас выходит стрелочник из будки
с флажком в руке.
Ребенок машет из окошка
среди настурций.
Жена и мать
доит козу
и, замечтавшись, смотрит вслед вагонам.

Но я не видел их.
Они исчезли.
От них остался серый дым.
И только.
Меж белых деревцев внезапно вырос
зловещий гриб
в большой старинной шапке.

Потешный гриб.

А где-то у него
имеется
отравленный двойник.
Да, где-то в мире
зреет
его отравленный двойник.

Вокруг меня
черешни побежали вверх по склону.
На фоне неба
я увидал их черные скелеты.
В них листья колотились,
колотились
и угасали,
будто бы сердца.

Последние гремели поезда,
везя молчание.
Они летели
мимо детей увядших и настурций,
мимо коз
со смертоносным выменем и мимо
рук и флажков,
дающих им дорогу
к разъезду «Смерть».

Их тени мчались,
и тянулись травы
меня ужалить.
Мне в лицо толкались
и упадали
пчелы.

Ядовитый мед
струился по моим губам,
раскрытым
для вопля.
Но уже исчез мой голос.
Я снова был лишь легкой струйкой дыма,
росой,
умершей клеткой,

вернувшейся на миллион столетий
назад.
Я подымался,
я опять сливался
с тем облаком, из коего я вышел.
Я снова слышал
хохот динозавров.

Ах, берегитесь!

Ведь это был не поезда гудок,
а мое сердце, слышите? Оно
кричит с холма, оно взывает громко
над целою Землею:

— Берегитесь!

Вон — перышком из птичьего крыла
проходит облако
в прозрачном небе.

НЕТ, НЕ ДО́ЛЖНО

Нет, не до́лжно, чтоб гибло до срока
то, чему не пришел еще срок.
Пусть твой замысел прянет высоко,
пусть береза струит новый сок,
и корабль, огибающий тропик,
в порт заветный придет все равно,
пусть шоссе не прервется в окопе,
пусть родится, чему суждено.

Нет, не до́лжно, чтоб знали мы: плачут
дом пустынный, открытый ветрам,
хлеб, который едва только начат,
и письмо, недошедшее к нам.

Пусть лоза хорошеет с годами,
лишь от солнца пылает река,
и, не тронутая губами,
не тоскует девичья рука,
очаги не тускнеют жестоко,
и листок не пустеет без строк.

О, не до́лжно, чтоб гибло до срока
то, чему не пришел еще срок!

МИКРОКОСМОС

Я к вам приду.
Но прежде должен я
прийти к себе,
в себя проникнуть должен,
чтоб заново
мир этот сотворить.

На Красной площади
моей души
караю злых,
властолюбивых,
равнодушных,
я разрушаю старое их царство
и слово создаю —
любовь,
и царство новое
провозглашаю,
и новые пути ищу
на полушарьях мозга моего,
и направленье рек
бурлящих мыслей
пытаюсь изменить,
и чары заблуждений разрушаю,
и собираю
цветы растоптанные.

Так не упрекайте
меня за то,
что я нетороплив:
я делом занят,
только вы не ждите,
чтоб за шесть дней
мир сотворить я смог.
В моей душе
большие расстоянья
пройти я должен,
оросить пустыни,
захваченные города освободить,
птиц пленных выпустить на волю
и разрушить
красивые, спокойные селенья.
Лишь после этого
к вам навсегда прийти
смогу я наконец.

ЖЕЛЕЗО И НЕЖНОСТЬ

Истерзанный, стоял я
между железом и нежностью.

Стальные люди
шли ко мне, давали мне советы:
— Сделайся стальным.
Вставь в свои глазницы две свинцовых капли.
Язык свой преврати в кинжал.
Не руки людям протяни —
стальные молоты.
Закройся наглухо, как дверца сейфа.
Воздвигни дом железный,
поставь меж стен его
железных птиц,
железные цветы,
железные слова.
Остынь
и очерствей,
дави на всех вокруг —
и будешь ты всегда неуязвим.

А я был слаб.
Беспомощными были мои руки
в оковах.
С прозрачными мечтами
и невечной плотью,

я был всегда открыт ударам,
ласкам,
грабежам,
сомненьям,
состраданью.
Был так несовершенен,
что проходили сквозь меня
и молнии, и солнца,
так открыт,
что никогда железо
не могло достигнуть сердца моего
(конечно, кроме пули).
Был очень слаб.

— Уйдите же, стальные люди, — я шепнул.

Но не ушли они.
Была их мощь огромной.
Спасти меня они хотели
от слабости моей.
Медленно приблизившись ко мне,
ловили мои руки,
любовно переламывали их,
прижав меня к груди,
расплющивали нежно,
доброжелательно топтали,

подмять стараясь
под себя.

Я корчился в объятьях беспощадных,
я леденел от этих ласк железных,
я кричал.
Мне было больно.
И по лицу стекали слезы.

Я не увидел,
как одна слеза упала
и как сверкающая сталь
покрылась
ржавчиной.

МАЛЬЧИК В ТИРЕ

Блестящие молчали ружья,
а их хозяин
стоял недвижно, точно восковой.

Мальчишка вдруг остановился,
на цыпочки поднялся
и начал всматриваться в пестрый мрак.

Там ничего не двигалось.
Там было все безгласно и мертво.
Там двери были накрепко закрыты,
скрывая Спящую Красавицу,
бесстрашно барабанщики стояли
с руками,
застывшими над барабанами,
жар-птицы угасали,
томились пальмы,
лежали негры у своих убогих хижин,
Красных Шапочек штук пять стояло,
перед Волками замерев,
сирены без морей,
певцы без песен,
мельницы без ветра.

Мальчишка взял одно из ружей
и выстрелил.

И вдруг

раскрылись шумно двери —
и Спящая Красавица пошла.
Жар-птицы поднялись над пальмами,
а негры стали прыгать возле своих хижин,
там-там,
там-там,
там-там!
Сирена опустилась в сине море,
бежали Волки,
у мельниц крылья завертелись,
а Красных Шапочек семейство
от радости махало шапками.
И даже восковой хозяин
от счастья растопился
и человечьим голосом воскликнул:
— Браво! —
А певцы запели весело,
шарманки заиграли,
и ударили
торжественно,
бесстрашно,
громко
в барабаны
барабанщики
в честь самого отличного на свете
солдата.

БАЛЛАДА О БЕЛОМ КОРАБЛЕ

В тот день осенний умирал мальчишка —
совсем один, на ветхом тюфяке.
На лестнице — ни возгласа, ни шага.
И кто бы мог к нему сюда подняться
под крышу, что течет, как решето?
Он вспомнил мать, ее большие руки,
опухшие от ткацкого станка,
о том лекарстве, пахнувшем болотом,
о докторе с холодными руками,
о фабриканте — как кричит он злобно,
едва его попросишь о деньгах...
А город там, снаружи, за окошком,
стоял застывший, будто на картине.
Ни шум его сюда не долетал,
ни ветер не врывался в эту раму.
Он, ветер, бешено летел по крышам,
дудел в тромбоны водосточных труб,
он путал с ходу волосы деревьев
и улетал в соседние кварталы.
Но нынче ветер вдруг остановился.
Там, где-то выше, возле самой крыши,
метнулась штора, как его крыло.
И он увидел в сумраке кровать,
безмолвную, как деревянный остров.
На стареньком истертом одеяле
лежали две беспомощных руки...

И равномерно тикали часы
и медленное отсекали время,
а в уголке, как равнодушный мастер,
спокойно выплетал паук-вязальщик
чехлы для пары старых фотографий...
Кругом так было тихо, что на миг
послышалось, как скрипнула кровать
и:
— Воздуха, —
о помощи моля,
вдруг прошептали спекшиеся губы.
Слыхал ли это городской наш ветер?
Но он зачем-то застучал в стекло,
он проплясал по кровле черепичной
и темное окошко распахнул.
И вспыхнул город в деревянной рамке —
с клаксонами, с бензином и со спешкой;
и весь шумящий многоцветный мир
воскликнул радостно: «Живи, сынок, живи!»
В благоуханных липах переулка
веселые толкались воробьи,
вдали летел и молнии метал
один трамвай, а в нижнем этаже
беспечное бренчало фортепьяно.
Вдруг крыльями взмахнула занавеска
и мальчика горящее чело

погладила, как добрая рука.
Все ожило вокруг — платки, листы,
аптечный пузырек стал колокольцем,
и сам паук, очнувшийся от дремы,
тревожно засновал в своем углу...
А там, в окне, разбуженная ветром
пред взглядом удивленного мальчишки,
ожившая затрепетала штора —
огромная во мраке, как корабль,
пускающийся дерзко в путь далекий...

О, посмотри! Ты слышишь, как скрипят
под парусами толстые канаты?
Вот он — корабль тот самый, о котором
читал мальчишка много дней подряд...
Ведь именно о нем он и мечтал,
когда на океанах в переулке
командовал бумажною эскадрой.
Ведь именно на нем он отплывал
ночами с лихорадкою в глазах.
Лишь комната потонет в темноте
и звезды соберутся у окошка,
моряк спешил из города на берег.
Вокруг него — бескрайний океан,
который бьет солеными волнами
в дом... иль нет — в трехмачтовый фрегат!

Антенны — это мачты, а по ним
летит зеленая звезда сигнала...
И вот теперь корабль и вправду здесь!
Какой же курс держать, мой капитан?
В Атлантику, на мыс Надежды Доброй,
на Индию, на Крит, на Гибралтар?
Ах, нет! Ты поверни штурвал, штурвальный,
куда укажет слабая рука!
Или не знаешь ты, что существует
великая и добрая земля?
Но надо много переплыть морей,
пока вдали увидишь светлый берег.
Иль ты об этом береге не слышал?
Ведь это же о нем, снижая голос,
покойный нам рассказывал отец.
Ведь это же о нем мечтала мама,
когда нас вечер пригибал тоской.
А вот теперь исполнилась мечта!
Стоит мальчишка на причале. Рядом
спускаются последние тюки
в разинутые пасти черных трюмов.
Едва не опоздав, спешит матрос,
и стаи белых чаек реют низко
и с острым криком вновь взмывают ввысь.
Эй, ставьте парус! Поднимайте якорь!
«Неужто же они меня оставят?» —

мелькает у мальчишки в голове.
— Гей, капитан! Ведь я же здесь! Постойте!..
Еще немного, ах, еще немного,
я поднимусь на палубу — и в путь! —
Еще немного! Как призывно машут
и паруса и люди на борту!
Быстрей, быстрей! Беги, беги, беги!
— Подайте сходни! — рявкнул капитан,
махнув своею деревянной трубкой. —
«В путь!» — это машут шапками, руками
на шканцах бородатые матросы.
Пред ним сияет белоснежный парус,
и чайки тоже будто бы зовут:
— Скорее, мальчик! Вместе с нами — в путь!
К земле великой! Поспеши! В дорогу! —
И, задыхаясь, подлетает мальчик
к наполнившимся ветром парусам.

А женщина домой вернулась в полночь
и в комнату на цыпочках вошла.
Все было тихо. Беленькая шторка
сама с собой играла в полумраке.
Склонилась мать над старою кроватью,
и в тот же миг над улицей пронесся
отчаянный и одинокий крик...

РОМАНСЕРО О ХОСЕ САНЧО

Хосе Санчо,
Хосе Санчо,
я ищу с тобой беседы,
драгоценный
Хосе Санчо,
мой приятель и художник,
поседевший на вокзалах,
постаревший в разных встречах,
двадцать пять нелегких вёсен
обходящий нашу землю.

Почему же
так неверно
ты ее изображаешь?

Расскажи,
зачем рисуешь ты в моих
домах фракийских
исполнителей фламенко
и мадонн,
мой Хосе Санчо?

Расскажи,
зачем ты пишешь Северное море
красным,

желтым, розовым, зеленым,
а мужчин его суровых —
с негой южною во взоре?

Расскажи,
зачем рисуешь ты быков у самой
Сены,
золотые кастаньеты
в синем небе над Варшавой?

Расскажи,
зачем рисуешь белых немок
только в черном,
как Кармен в ее мантилье,
и меж холмиков груди их
почему восходят розы?

Расскажи,
зачем рисуешь кипарисы
и маслины
под березами России?

Расскажи,
зачем рисуешь
ты во взгляде моей дочки
две большие ночи,

Санчо,
два кинжала из Толедо?

Хосе Санчо,
Хосе Санчо,
ты молчишь,
не отвечаешь.
Поседевший на вокзалах,
постаревший в разных встречах,
двадцать пять нелегких вёсен
обходящий нашу землю.
На любом чужом вокзале —
сходишь ты в своей Испании,
ты при каждой новой встрече
видишь милую Испанию,
ты по всей земле рисуешь
лишь ее, свою Испанию.

Я в глаза тебя целую,
Хосе Санчо,
Хосе Санчо.

ПОЭТ

Будь Колумбом всегда,
будь Колумбом всю жизнь.
Открывай континенты и звезды,
людей и пространства;
вмести в своем сердце
весь мир,
все дороги, ведущие вдаль;
и, не зная покоя,
ищи;
а найдя,
отправляйся опять
в путь далекий,
к неведомым странам.

До последнего вздоха
останься Колумбом
и смерть свою встретить сумей,
как непознанный мир,
как еще не открытую землю.

ИСКУССТВО

Околдована ящерка сном
на граните зеленом и древнем.
Неподвижна она летним днем,
и зимою суровою дремлет.

Так она продремала века —
будто только на камень взлетела.
Я тебе поклоняюсь, рука,
изваявшая тонкое тело.

Так жила ты порывом своим,
так летала над тельцем усталым,
что стал вечным и камень под ним,
что не камнем он стал —
пьедесталом.

Никополис ад Иструм

КРАСОТА

Столько я тебя искал,
что стала
вся земля похожа
на тебя.

Столько я тебя желал,
что имя
стал твое давать
я всем вещам.

Есть ли ты?
Иль выдумал тебя я?

Может быть, и лучше, если так.
Может быть,
ты выдумана мною,
долго будешь ты тогда со мной,
разлюблю тогда
тебя последней,
и больнее
будет мне тогда,
если я тебя другой
случайно
даже на минуту
заменю.

ХУДОЖНИК

Он открыл — и на пороге замер.
Пустошь стен смотрела на него.
Ела сырость пятнами-глазами...
Гвозди, дырки... Больше ничего...

Как смотрела голодно, по-волчьи
комната в потеках нежилых!
Но на стены поглядел он молча
и картины разместил на них.

По стенам — по вымершим пустыням —
разместил и речку, и большак,
деревца под небом синим-синим,
солнца, заалевшие, как мак.

Разместил улыбки, летний полдень,
облака, детей средь тишины,
разместил весь мир и им наполнил
те четыре мрачные стены.

И, развесив зори и закаты —
ничего не утаив в себе, —
сделал он ту комнату богатой,
самою богатой на земле.

ВОСПОМИНАНИЕ

Я помню город: рвы, пустые рамы...
Там, в парке старом, встретил я двоих.
На рухнувшей сосне, у черной ямы,
они сидели. Я запомнил их.

В глаза друг другу так они смотрели,
что понимали все уже без слов.
А вместо птиц над ними пули пели,
и было не сыскать живых цветов.

Да, пули, пули стаями жужжали.
Земля стонала, потеряв покой.
Но, смерти чуждые, они молчали,
У них свиданье было. В час такой.

Я думаю о нас, моя родная,
о вечной верности, о тех двоих.
В минуту нашу трудную, не знаю,
мы сможем ли хоть походить на них.

Но верю я — мне в это верить надо:
и мы с тобой у смерти на виду
вот так же встретимся и будем рядом,
как двое те в том памятном году.

ГУЛЛИВЕР

Я — великан Гулливер
в стране твоих маленьких рук.

Десяток слепых лилипутов
встречает меня,
любимая.
Десяток слепых лилипутов
обнимает меня,
любимая.
Десяток слепых лилипутов
уводит меня,
усыпляет,
и каждый твой волосок,
точно канат,
держит меня,
любимая.

И десяток слепых лилипутов
хлопочет на мне,
на сердце моем,
входит в тайны мои
и из звезд, что в глазах у меня,
сооружает фонарики.

Милый
народ колдовской,

Я ведь более слеп,
чем они.
Я ведь более слаб,
чем они.
Не могу я подняться.
Забываю,
что должен искать
страну великанов.

Я — Гулливер
в стране твоих маленьких рук,
любимая!

ЛЮБОВЬ

Потушен свет. А вечер пуст и мрачен.
Ты в темноте сидишь одна сейчас.
Я в первый раз раскаяньем охвачен...
И дома я остался в первый раз.
Не поздно ли? Я дал тебе так мало!
Так много горя в жизнь твою принес:
растраченную нежность, взгляд усталый
и горький груз невыплаканных слез.
На руки посмотри мои. Мне стыдно
тебя коснуться ими. Где же ты?
Мне даже гневных глаз твоих не видно
из-за проклятой этой темноты.
Ну что ж? Ударь. Потребуй воздаянья
за все обиды. Укажи на дверь
и крикни вслед, что за твои страданья
ты ненавистью платишь мне теперь.
Я заслужил великую немилость,
и лед в глазах, и ненависть в груди...

Ты подошла. Ты надо мной склонилась.
И голос твой сказал: «Не уходи...»

ПЕРСТЕНЬ

За тихий твой приход, который внятно
и до сих пор гремит во мне грозой,
за все, что отдала, не взяв обратно,
что мог я быть с тобой и не с тобой,
за все слова, что ты в себе хранила,
за ласки, коих ты не берегла,
за то, что ты в меня вливала силу,
когда сама бессильною была,
что были мое имя, моя песня
минутой каждой твоего житья, —
на тоненький твой пальчик вместо перстня
жар поцелуя надеваю я...

УЛИЧНЫЙ АВТОМАТ

Двадцать стотинок. Плачет она.
Двадцать стотинок. Разлука.
Двадцать стотинок. Конец. Тишина.
Гуды. И больше — ни звука.
Двадцать стотинок. Му́ка в душе.
Трубка ложится без лязга.
Да, открутился тот номер уже —
двух согревавшая ласка.
Падает, звякнув, монета назад,
та же все снова и снова...
Двадцать стотинок. И автомат,
не возвращающий зова.
Двадцать стотинок. Гол небосклон.
Пусто в постели остывшей.

Ах, ненавижу я тот телефон,
дешево их разлучивший!

ДРАМА, ПОДСМОТРЕННАЯ УТРОМ

Одна из роз была красна, другая — белопенна.
Они у моего окна раскрылись на рассвете.
И, между ними протянув незримую антенну,
Полз паучок — он домик здесь сплести себе наметил.

Одна из роз была красна, другая — белопенна,
Пленили свежей красотой его соседки эти.
Он закачался, заплясал на ниточке антенны,
Связав струною золотой две розы в вешнем цвете.

Но каплей солнца он застыл вдруг посреди антенны,
Грустя: какая из подруг прекрасней всех на свете?
Ах, бедный паучок! Попал он в собственные сети.
Одна из роз была красна, другая — белопенна...

ЦВЕТА МОРЯ

Какой палитрой ты располагаешь!
Но черного в тебе не знаю, нет.
Наверно, не для нас, а для врага лишь
ты, море, сберегаешь черный цвет.

ЧЕРНЫЙ ВЕТЕР

В небе, где молниям тесно, ветер летит без оглядки.
Тяжко вздымаются воды, будто бы грудь в лихорадке.
Плещутся ветви и сети. Колокол ветру ответил.
Бешеный ветер проснулся. Черный вернулся к нам ветер.

Ветер с востока, что снова челн опрокинет, как пьяный,
что до глубин сотрясает дом у воды деревянный,
что корабли на приколе с якорной цепи срывает,
что прямо в самое небо пену с песком подымает.

Мчит он — и скалы грохочут. Птицы стремятся под кроны.

Мчит — вынимают рыбачки древние наши иконы.

Мчит — и пустые шаланды дико скрипят у причала,
бурей введенные в ужас, бури почуяв начало.

Пусто. Над берегом только ветер гудит безнадежно.
Только, невидный во мраке, колокол бьется тревожно.
Стук! — и смолкает внезапно. Звяк! — и стихает он вскоре.
В буре ли он задохнулся, иль захлебнулся он в море?

Пусто. Лишь ветер да ветер... Скал осыпается охра.
Жены глядят молчаливо в темные мокрые окна.
Будто сквозь слезы всё смотрят в темь, где грохочут
пучины,
где в этом бешеном ветре, может быть, гибнут
мужчины.

ТЯНУТ СЕТИ

Десять пар ног — шаг в шаг.
Десять пар рук — с канатом в споре.

Тяни вот так. Тяни вот так.
Вытяни целое море.

Вытяни обещанное прошлый год
платье цвета неба,
ласки долгожданные... Вытяни из вод
соли, огня, хлеба...

Картонную лошадку — пусть дитятко мое
смеется белозубо.

Песню такую, чтоб после нее —
губы в губы.

Вытяни табак и одежду на весну,
рюмку водки, чтоб грудь согрела,
две звезды в окошке. Тишину.
Сон для усталого тела.
Тяни вот так. Тяни вот так.

Десять пар ног — шаг в шаг.
Десять пар рук — с канатом в споре.

Тяни вот так. Тяни вот так.
Вытяни целое море.

ОХОТА НА ДЕЛЬФИНОВ

Отчего я вдруг вспомнил,
как охотились мы на дельфинов?

Было множество их,
нам попалась огромная стая,
их тушами трюмы наполнили мы,
доходила до борта вода,
и корабль не мог всей добычи вместить.

Все же было нам жалко расстаться с добычей.

И вот за собой
потащили мы сети, где бились дельфины;
мы медленно тронулись в путь,
богачами домой возвращаясь.
Дул ветер попутный,
и весело мачта скрипела,
и чудились нам города,
что смотрели в лицо нам
глазами смирившихся женщин.
И тогда неожиданно
буря на нас налетела,
корабль на месте застыл,
стали сети тяжелыми,
наша добыча назад нас тянула;
и страшно нам стало,

что мы не сумеем
до гавани нашей доплыть.
Кто-то крикнул: «Рубите канаты!»
Был прав он.
И все же его ненавидели мы.

Топоры застучали.
Мы стали канаты рубить.
И было нам горько и больно,
что полные сети
оставить нам в море пришлось.

Перед нами
поднимался медленно берег,
пустынный и залитый светом.

Отчего я вдруг вспомнил,
как охотились мы на дельфинов?..

СТЕНЫ

В палате моей
белыми, тихими были
три стены.
Четвертая
ночью стонала:
«Воды!..»

Кричала она
три ночи подряд.
На четвертую ночь
стала белой и тихой,
как те.
Белой,
холодной,
немой.

Страшной стеной.

ТИШИНА

Потребовало сердце тишины.

Я превратил в морское дно
палату,
ее я в лес безмолвный
превратил,
чтоб между стен ее
дрожало сердце,
как одинокий-одинокий лист.
Я вырвал языки
у штор,
у двери,
у половиц,
у бегающих ветров,
у капель,
у шагов
и у звонков;
я губы на молчанье осудил,
у площадей и улиц отнял крики,
чтоб только наступила тишина.

Но тишины все нет.
О, нет... О, нет...

Я весь
стальными рельсами рассечен,

пронзен я
и словами,
и штыками,
истерт подошвами,
плугами вспахан,
во мне бьют молоты,
и губы шепчут,
и корабли ревут,
и птицы кличут,
и полон я
и песен, и рыданий,
усиленных звучащей тишиной.

О, нет ее,
нет больше тишины...

Когда прозрачный сок
вином забродит,
он, вырваться стремясь,
в сосуде бьется —
и вот опять движение и звук.
У облака,
плывущего в молчанье,
набухло
бело-розовое вымя

от молний,
плеска крыльев и дождей.

Нигде нет тишины...
Куда бежать мне
от этих звуков,
этих голосов?

О сердце,
из тебя они исходят,
из глуби твоей раковины красной,
я их ношу в себе самом
и слышу,
как шум земной рождается во мне
и разрывает плоть,
как убивает
и воскрешает вновь,
как заполняет
собой меня всего,

чтобы второй раз
дать мне этот мир.

У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕ

Уходят все.

Я остаюсь один,
и остается этот шкаф без книг,
две красные гвоздики остаются,
и белое окно,
и падающий на пол
крест от оконной рамы,
и листы
больничные, где кровь моя в смятенье
вершины бурь и боли начертала.

Уходят все.
Я остаюсь один.
Лежу, не двигаясь,
лежу, закрыв глаза,
и загораются две красные гвоздики
под лихорадочными веками моими.

Я никого
на помощь не зову.
Ведь у меня есть все:
со мной остались
воспоминания мои,
остались лица
живых и мертвых,

и глаза
тех, с кем дружил,
и тех, с кем враждовал,
и руки нежные,
как лепестки цветов,
безжалостные,
словно сталь кинжала.

Есть у меня
разлуки,
встречи,
небо,
падения и взлеты,
и следы
от поцелуев,
от клыков свирепых
и от оков
разорванных и новых.
Да! У меня есть все,
и я лежу спокойно,
я полон мудрости деревьев, что склонились
осеннею порой
под тяжестью плодов.

Воспоминания мои!
Не уходите!

Пусть все уходят —
вы со мной останьтесь,
чтоб ожил я,
чтоб смог я распрямиться,
чтоб не был страшным
этот шкаф без книг,
и белое окно,
и черный крест от рамы
и чтобы вдруг
не стало страшным
мое лицо.

Уходят все.
Я остаюсь один.

Всю комнату наполнили гвоздики.

ПРИГОВОР

Чтоб жить я мог,
должно во мне хоть с болью,
но непрестанно что-то умирать.
Приговорил я к смерти
через неприязнь
приятельства,
продажные в несчастьях,
и вас, знакомства,
что толпой незваной
на трапезу моей души собрались.

Приговорил я к смерти
через равнодушье
обманчивость заманчивых желаний
и рабства мощные —
что создал сам же —
у мелких целей
и людишек мелких.

Приговорил я к смерти
через недоверие
святые лжи,
в которые я верил,
из станиоля сделанные солнца,
что я за подлинные солнца принял.

Приговорил я к смерти,
чтобы жить.

ЖИВ Я

Жив я.

Раскалено добела
все во мне.
Жив я.
Падаю и кричу от муки.
Жив я.
Не от болезни больно мне.
Больно, что я повержен.

Жив я.

Весь содрогаюсь, как тетива.
Жив я.
Весь горю и кричу в ознобе.
Жив я.
Не от озоба я дрожу —
от гнева,
что я остановлен.

Жив я.

Люди, замершие минуты во мне болят.
Жив я.
По утраченным дорогам стенаю.

Жив я.

Люди,
хочу, чтоб были только рождества,
не хочу смерти.

Жив я.

Во мне вопиют неродившиеся миры.
Жив я.
Мертв я буду,
когда не буду кричать от боли.
Жив я.
Люди,
выслушайте диагноз болезни:

Жив я.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Чтоб ты остался в жизни быстротечной,
чтоб нужен был в лучах иной зари —
любую вещь и каждый образ встречный
ты воссоздай и пересотвори.
Создай все вновь, как ветка винограда,
в чьих зернах дремлют шири без конца,
и как пчела, кому для меда надо,
чтоб были только солнце да пыльца;
как стонущая женщина, в чьих недрах
любовь продленья ищет наяву;
как почва, возвращающая щедро
и облака, и крылья, и листву.
О, все должно родиться из страданья,
звук вновь тобою должен быть рожден,
и старый образ получить сверканье,
какого до тебя не ведал он,
и мысли вновь должны в тебя врубаться
так, чтобы боль от раны не снести,
и каждая должна с тобой остаться,
как шрам, который с кожи не свести.
Иначе как все взятое тобою,
обогативши, вложишь ты взамен
в слова для песни или в штык для боя,
в космический полет или в мартен?
Как оно станет поиском суровым,
рассветом, другом, что тебе помог,

паденьем тяжким и подъемом новым,
и продолженьем марша без дорог,
и баррикадой, и кудрей касаньем,
и звездами, чей так приманчив сон?
О, должен мир родиться из страданья,
повторно должен быть в тебе рожден,
любую вещь и каждый образ встречный
возьми и сердцем пересотвори —

чтоб ты остался в жизни быстротечной,
чтоб нужен был в лучах иной зари...

СОДЕРЖАНИЕ

Ханчев, Веселин

ИЗБРАННАЯ ЛИРИКА. Пер. с болгар. М., «Молодая гвардия», 1970.
80 с. («Избранная зарубежная лирика»)

И(Болг)

Редактор *Г. Головнев*
Художественный редактор *А. Степанова*
Технический редактор *З. Сутченко*

Сдано в набор 3/VII 1970 г. Подписано к печати 8/IX 1970 г. Формат 60×90$^{1}/_{32}$. Бумага № 2. Печ. л. 2,5 (усл. 2,5). Уч.-изд. л. 2,2. Тираж 30 000 экз. Цена 23 коп. Т. П. 1970 г., № 364. Заказ 1289.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Москва, А-30, Сущевская, 21.

23 коп.



Кто был тесно связан со своим временем, того оно пощадило.

В. Ханчев

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ